

DOI 10.15826/qr.2017.1.220

УДК 930.2+94(0)477-25)+159.222.264

## «ЧИГИРИНСКИЙ ЗАГОВОР» И КРЕСТЬЯНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ\*

**Виктор Мауль**

Тюменский индустриальный университет,  
филиал в Нижневартовске,  
Нижневартовск, Россия

## THE CHIGIRIN CONSPIRACY AND PEASANT PSYCHOLOGY

**Viktor Maul**

Tyumen Industrial University,  
Nizhnevartovsk Branch,  
Nizhnevartovsk, Russia

This article considers the psychology of the peasants who took part in the Chigirin conspiracy in Kiev province in the second half of the 19<sup>th</sup> century. The analysis is based on a variety of sources kept in the State Archive of the Russian Federation. The author focuses on the unique combination of objective and subjective factors reflecting how the peasant movement was divided by national, interclass, and class conflicts, as well as opposing religious views. It was due to these factors that the Chigirin conspiracy acquired its unique character, which can help clarify how traditional psychology works during protests. The author points out the psychological factors which led to a temporary union between the revolutionary Narodniks and the peasant movement as part of the Secret Druzhina: this had the purpose of raising a rebellion and fighting for the redistribution of land. The article describes the reasons for the failure of the self-styled conspiracy organised by the revolutionary Narodniks, who pretended to be the tsar's commissars and presented the Chigirin peasants with what was claimed to be documents approved by the tsar but were in fact forged papers. The analysis is based on an interdisciplinary approach. Relying on the hermeneutic paradigm in his attempt to interpret events of the past, the author tries to understand the motives behind their

---

\* *Citation:* Maul, V. (2017). The Chigirin Conspiracy and Peasant Psychology. In *Quaestio Rossica*, Vol. 5, № 1, p. 221–240. DOI 10.15826/qr.2017.1.220.

*Цитирование:* Maul V. The Chigirin Conspiracy and Peasant Psychology // *Quaestio Rossica*. Vol. 5. 2017. № 1. P. 221–240. DOI 10.15826/qr.2017.1.220 / Мауль В. «Чигиринский заговор» и крестьянская психология // *Quaestio Rossica*. Т. 5. 2017. № 1. С. 221–240. DOI 10.15826/qr.2017.1.220.

protest and reveal some of the general and peculiar components of peasant psychology during the post-reform period. These components were characteristic of Little Russia's peasants compared to the peasants of other Russian provinces of the time.

*Keywords:* Chigirin conspiracy; peasant psychology; Narodniks; tsar's commissars; forged *gramota*.

Рассматриваются особенности психологии крестьян – участников «Чигиринского заговора» в Киевской губернии во второй половине 1870-х гг. Источниковую базу статьи составил комплекс документов различной типовидовой принадлежности, хранящихся в Государственном архиве Российской Федерации. Суть проблемы заключается в уникальной комбинации объективных и субъективных факторов, когда в крестьянском движении неразрывно переплелись острые национальные, внутри- и межсословные, конфессиональные и иные противоречия. Их совокупность придала неповторимый облик чигиринским событиям, позволяющим на конкретных примерах изучать механизмы работы традиционного сознания в условиях протестной активности. В статье выявлены психологические факторы, способствовавшие временному срастанию революционного народничества с крестьянским движением в виде образования конспиративной организации «Тайная дружина» с целью подготовки восстания и изменения существующего порядка землепользования. Выяснены причины провала самозванческой интриги революционеров-народников, выдававших себя за царских комиссаров и предъявивших чигиринским крестьянам подложные царские манифесты. Познавательная стратегия автора опирается на междисциплинарный подход; обращаясь к герменевтической парадигме в стремлении понять события прошлого, взглянув на них глазами самих участников и современников, он пытается усвоить логику их протестной активности и выявляет общие и особенные компоненты крестьянской психологии в пореформенный период, характерные для крестьян Малороссии в сравнении с крестьянами других губерний Российской империи.

*Ключевые слова:* Чигиринский заговор; крестьянская психология; народничество; «царские комиссары»; подложные грамоты.

Несмотря на интригующий сюжет, образование и деятельность во второй половине 1870-х гг. в Чигиринском уезде Киевской губернии подпольной организации «Тайная дружина» нечасто оказывались объектом специальных исследований. Они либо трактовались как уникальный эпизод в истории революционного народничества, либо вкуче с предшествующими волнениями в той же местности рассматривались как типовое явление в ряду массовых крестьянских движений пореформенной эпохи. В первом случае познавательный акцент смещался в сторону группы революционеров (Я. В. Стефановича, Л. Г. Дейча, И. В. Бохановского), с помощью подложных царских

грамот попытавшихся разбудить стихию народного бунта. Во втором – в компаративном плане обстоятельно изучалось хозяйственное положение бывших государственных крестьян юго-западной окраины Российской империи и анализировалась степень обоснованности их стремления силой добиваться земельного передела.

Однако и те, и другие историки не обращали должного внимания на социокультурную подоплеку специфических «детонаторов», в силу которых долго терпевшие тяготы и административный произвол мирные труженики села вдруг обнаружили в себе яростную бунтарскую энергию, удивительную способность к социальной мобилизации, структурной самоорганизации и строгой конспирации. Обычно их изображали невежественной «темной» массой, задавленной суровыми буднями жизни и будто бы зараженной вирусом «наивного монархизма», а потому легко и безропотно позволившей вовлечь себя в опасное противогосударственное дело.

Сегодняшний уровень научных представлений позволяет отвергнуть столь упрощенные объясняющие модели. По верной оценке И. Л. Андреева, «универсальность этого тезиса просто подкупает. Наивный монархизм, как отмычка, пригодная ко всем замкам». Историк убежден, что «определение “наивный” как бы снимало саму проблему», а потому «легко разглядеть в этом объяснении ущербность. Оно ничего не объясняет! Наивный – значит простодушный, почти детский – здесь и размышлять не над чем» [Андреев, 1999, с. 112; Андреев, 1995, с. 48–49].

Апология тезиса о «наивном монархизме» показывала неготовность ученого сообщества признать за инаковостью право на существование и культуртрегерские намерения подогнать психологический облик «другого» под цивилизаторские лекала и шаблоны своего времени. Между тем, как доказывают источники, логика в мировоззрении и поведении чигиринских крестьян «вовсе не отсутствовала, она лишь отличалась от логики дискурсивной культуры» [Бескова, с. 127].

Рационально мыслящими атеистами и «прирожденными бунтарями», нетерпеливо ждущими революционного клича, они, конечно, быть не могли. Напротив, их слова и дела говорят о них как об убежденных традиционалистах и православных монархистах. Непривычный для историка язык их протестных жестов фундировался эмоциональными образами религиозно-монархической картины мира и требует соответствующей интерпретации. Это означает следующее: чтобы адекватно понять психологию «Чигиринского заговора», надо внимательно прислушаться к голосам главных его участников – крестьян, «довериться своим “собеседникам”», а потому «взять за основу их критерии» и оценки происходившего [Усенко, 2005, с. 74–75]. При таких эпистемологических приоритетах событийный нарратив народных беспорядков в различных селениях Чигиринского уезда во второй половине 1870-х гг. способен наполниться тем социокультурным смыслом, который придавала ему крестьянская психология.

Движение крестьян за душевой передел земли, непосредственно предшествовавшее возникновению «Чигиринского заговора», наглядно показало, что краеугольным элементом социокультурного пространства для них являлась традиция как сакрализованный опыт предков. От поколения к поколению она транслировалась через практическую имитацию и/или многочисленные фольклорные жанры, определяя в том числе и политическую позицию селян. Заметную роль в этой ментальной эстафете времен играло героическое прошлое Чигириня, благодаря которому он превратился в особо чтимое «место памяти» в историко-культурной жизни Украины [Мицик, с. 6].

Тем более актуальной была архетипическая связь с историей края для крестьянских вожаков и рядовых членов «Тайной дружины». После прекращения волнений вершители правосудия в зависимости от степени участия в противозаконном сообществе поделили их на несколько групп. К первой причислили Лазаря Тененику, Кузьму Прудкого, Михаила Гудзя, Ивана Пискового и Ефима Олейника, которые резко отличались от других «как значительную энергиею, употребленною... для достижения целей сообщества, так и сознательным, строго обдуманном способом действий», а также «значительную степень развитости». Из 25 крестьян «второй категории» стоит назвать имена Акима Больбота, Дмитрия Горбенко, Ионы Жаданенко, Николая Охрименко, Евстафия Псиолы, Михаила Свитенко, Феодосия Чепурного, Иллариона Шалько, Степана Шутенко и др., чья деятельность «была не столь энергична, а поэтому и влияние их на прочих дружинников не было столь решительно». Наконец, к третьей группе отнесли еще 15 человек, которые изобличались в том, что «выполнили присягу на вступление в сообщество». Но так как не было обнаружено «точных доказательств того, чтобы они принимали какое-либо более или менее значительное участие» в его делах, Сенат приравнял их «к той общей массе “дружинников”, из числа коих судебное преследование в отношении восьмисот двадцати девяти человек по Высочайшему повелению прекращено» [ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 477. Л. 113–113 об., 124–124 об., 129–129 об.].

Упомянутые в судебно-следственной классификации лица не исчерпывают список наших «респондентов», который по возможности расширяется за счет их родственников, друзей, знакомых, соседей. Большую прослойку, например, составляли отставные солдаты рядового и унтер-офицерского состава, исколесившие мир, не раз бывавшие в боях и отмеченные заслуженными наградами, что обогатило их кругозор новыми знаниями и впечатлениями, выходящими за привычные рамки. Однако они были всего лишь «тонкой лаковой пленочкой» на толще традиционных народных представлений, готовой в минуту высокого эмоционального напряжения прорваться под мощным натиском культурной архаики. В целом же взгляды чигиринцев свидетельствуют не только о существовании между ними строгих разделительных барьеров, но и о наличии системных объединяющих

начал, позволяющих отнести их умственный склад к общему психологическому типу.

Наблюдательные современники отмечали неслучайность того, что именно Чигиринский уезд не раз становился «кратером вулкана повстанчества», ибо там «живут еще в народной памяти предания о Гайдаматчине и Запорожской вольнице». Поэтому «разрушительные теории, которыя Стефанович и его сообщники старались утвердить в умах местных крестьян и которыя так близко подходят под вкусы, унаследованные ими от предков, едва ли изгладятся когда-либо в их памяти, следовательно, можно опасаться, что если не скоро, то в более или менее отдаленном будущем движение, подобное настоящему, может возродиться в более широких и грозных формах» [ГАРФ. Ф. 109 (3-я Экспедиция, 1877 г.). Д. 262. Ч. 1. Л. 234–234 об.]. Процитированный текст акцентирует культурную преемственность и традиционализм как черты бытового сознания жителей региона, которые в тревожной обстановке «разрыва повседневности» выступали на первый план. Реанимируя укорененные в традиционной ментальности коллективные архетипы, они становились психологическими катализаторами крестьянской активности. Мироощущение вселенной как изначально построенной на принципах социальной правды должно было побуждать крестьян задумываться о происхождении их жизненных неурядиц. Единственно возможный в бинарной системе культурных координат ответ предполагал наличие чужеродного по отношению к «своей» социальной группе фактора. Не случайно народному монархизму было присуще «отделение царя от сановников, бюрократии, помещиков, заводо-владельцев (“бояр и чиновников”), даже противопоставление их» [Побережников, 1995б, с. 20].

В контексте монархической мифологии царь – это не просто наместник Бога на земле, но и гарант незыблемости установленных им порядков. Признание «посреднической миссии» царя между небом и землей репрезентировало святость его власти и в умозрительной схеме социальной стратификации отводило ему почетное место в рядах «своих». Поскольку в традиционных народных представлениях «Бог и царь были их союзниками, их защитниками от всех и всяких “они”», такая мысленная дифференциация облегчала «решимость крестьян выступать в защиту своих интересов». Легитимность выступлений они «всегда обосновывали нормами религиозной морали или ссылкой на царские указы» [Литвак, 1989, с. 186–187].

В этом закономерном психологическом феномене заключались одновременно сила и слабость протестующих селян. «Именно вера крестьян в царя и Бога, являвшаяся выражением стихийности движения, – по мнению видного советского историка, – была одной из основных причин», которая в подобных ситуациях давала возможность «правительству сравнительно легко подавить сопротивление крестьянства» [Зайончковский, с. 213; см. также: Пойда, с. 219].

Категоричность этих суждений говорит о недооценке их авторами ключевой роли монархической идеи в народном протесте, о непонимании очевидного обстоятельства, что без такой иррациональной веры в картину мира чигиринских и любых других крестьян пореформенной эпохи сама возможность возникновения народных движений оказывалась под большим сомнением даже при наличии каких-либо объективных оснований для них. А основания для серьезного недовольства у землепашцев Правобережной Украины действительно существовали, и без такого социально-экономического фона задуманная Стефановичем, Дейчем и Бохановским отчаянная авантюра не имела бы ни малейших шансов на успех. В конкретно-исторической обстановке, сложившейся на Чигиринщине к середине 1870-х гг., тесно переплелось множество факторов, рождавших любопытные ситуативные комбинации и взаимно обогащавших друг друга социальными смыслами и политическими контекстами.

Неудовлетворенность земельных потребностей «душевиков» зрела в течение длительного времени в результате сложных межнациональных отношений в некогда «панском» крае, обострения социальных противоречий с «актовиками» внутри крестьянского мира и неверной, как казалось, реализации аграрных царских законов местными чиновниками<sup>1</sup>.

По словам информированного источника, «экономическое положение казенных крестьян и условия сложившегося их материального быта, состоящего в полной зависимости от земельного надела, были главными причинами, вызвавшими организацию в среде крестьян тайного сообщества, поддавшихся легко влиянию и обману неизвестных личностей из-за того только, чтобы выйти к лучшему из того невыгодного и невозможного экономического положения и условий, в которые они были поставлены не зависящими от них причинами» [Новицкий, с. 103–104].

Однако жизненные тяготы как таковые не каждый раз провоцировали открытое неповиновение, и потому неверно «автоматически выводить степень народного возмущения из размеров феодальных повинностей. Часто бывало так, что подвергавшиеся особенно жестокой эксплуатации крестьяне оставались не втянутыми в движение, а их менее эксплуатируемые собратья вели активную борьбу». Отнюдь не единичные примеры убеждают, что для социальных низов более значимым было не количество собственных невзгод (они – дело тягостное, но привычное), а их ментальное измерение, то, как они воспринимались взбудораженным сознанием крестьян, столкнувшихся, в их понимании, с несправедливостью и болезненно реагиовавших именно «на “незаконные” поборы, даже если они невелики» [Крестьянство и классовая борьба, с. 315].

<sup>1</sup> В то время «душевиками» называли крестьян, желавших наделения землей «по душам», а «актовиками» – крестьян, подписавших люстрационный акт об участковом наделении землей. Именно первые из них были движущей силой крестьянских волнений в 70-е гг. XIX в. в Чигиринском уезде Киевской губернии.

Яркой иллюстрацией к сказанному является тот факт, что «участникам “хождения в народ” на протяжении всей своей деятельности нигде не удалось организовать ни одного антиправительственного крестьянского сообщества или хотя бы местного деревенского выступления» [Пелевин, с. 150]. В отличие от масштабного, но неудачного революционного проекта ключевую роль в разжигании чигиринских страстей во второй половине 1870-х гг. сыграли не столько объективные причины, сколько субъективно переживаемый конкретный повод, позволивший крестьянам почувствовать правомочность своих притязаний и поведенческих стратегий. В историческом процессе такие поводы чаще всего окрашивались в монархическую гамму тонов. Обеспечивая протестующих необходимой санкцией, они легитимировали протест в глазах его участников, придавая «действиям крестьян характер лояльности, уверенность, что они не бунтовщики, а верные слуги царя и исполняют лишь его волю» [Игнатович, с. 215].

Нечто подобное случилось и на этот раз, когда в накаленной атмосфере массового недовольства сотни рядовых жителей Чигиринского уезда с готовностью отозвались на прозвучавшие «от царского имени» призывы «не верить ни попам, ни дворянам», а поскольку царь «единолично не в силах помочь» их «горю», они сами должны «единодушно с оружием в руках» «свергнуть с себя дворянское иго и освободиться от тяжких угнетений и непосильных поборов». Не сомневаясь, что организуемое сообщество «устраивается по желанию Государя Императора, и находя образование его весьма для себя выгодным», они «охотно вступали в него» [ГАРФ. Ф. 109 (3-я Экспедиция, 1877 г.). Д. 262. Ч. 1. Л. 38, 38 об., 32 об.]. В то же время признавая, что «всякая воля государя императора для нас священна», чигиринцы решительно отказывались принять земельный надел «на целое общество или подворно... потому что подворный надел как самый неравномерный довел бы одних до нищеты, других же обогатил бы. Например, для двора, в котором две ревизские души, очень выгодно принять надел в 10 дес., но те же 10 дес. для двора, в котором 10 душ, не доставили бы даже насущного куска хлеба... При душевом наделе этого случиться не может, потому что на каждую душу будет отведено одинаковое количество земли. Такое наше желание нельзя считать преступлением!» [Крестьянское движение, с. 139, 140].

В качестве радетелей за интересы сельских обывателей выступили три незнакомых им молодых господина, которые выдавали себя за «царских комиссаров», якобы уполномоченных на это «богоугодное» дело самим венценосцем. Из осторожности они представились крестьянам под вымышленными именами: Стефанович назвался Дмитрием Найдой, а Дейч с Бохановским, сами путаясь, обычно именовали себя то Борисом, то Семеном.

По мнению С. М. Степняка-Кравчинского, это была «старая “самозванщина”, облеченная в новую канцелярскую форму. Такой бес-

совестной мистификации и вместе с тем такого могущественного орудия для того, чтобы волновать умы русской крестьянской массы, не придумала ни одна забубенная воровская головушка из разинской или пугачевской ватаги» [Степняк, с. 37].

Вопреки эмоциональному высказыванию известного народника, с яркими личностями сановных самозванцев россияне не раз сталкивались и прежде. Так, лет за сто до описываемых событий (в 1765 г.) в южноуральских краях объявился «секретный посланец» царя Михаил Ресцов (казак Ф. Каменщикова), будто бы отправленный «по именному высочайшему указу для разследования обид и притеснений, делаемых крестьянам прикащиками Демидова». Имелся у «фуриера» и «печатный указ» с титулом императора Петра Федоровича, якобы данный на его имя. В присутствии заводских работников, мирских старост, сотских, писарей он производил розыски по крестьянским жалобам и обидам. Подобно чигиринскому казусу, сам «добрый царь» в тех событиях физически не участвовал. Он фигурировал лишь виртуально – в объявлениях Каменщикова, народных слухах и разговорах других людей, убежденных в его милости и потому выступивших с акциями протеста против действий местной администрации [РГАДА. Л. 1–49; Памятники, с. 384–396; Юдин, с. 5–10; Побережников, 1995а, с. 74].

Даже беглый экскурс в историю минувших столетий снимает с примечательной затеи «триумвирата» революционеров ореол уникальности. К тому же глубинная мотивация, побудившая их к рискованным авантюрным начинаниям, является «секретом Полишинеля», закамуфлированным монархической оболочкой только от взыскующих взоров самих крестьян. В действительности же телеология их намерений и поступков хорошо известна из их собственных признаний и неплохо изучена. В научном плане более продуктивным представляется анализ социально-психологических феноменов, обеспечивших самозванным «комиссарам» такой феерический успех, что народное движение в Чигиринском уезде приняло «форму хронического недуга», который развивался «безостановочно и настолько быстро, что едва ли число привлекаемых ежедневно к дознанию сокращает общую сумму подлежащих допросу в качестве обвиняемых» [ГАРФ. Ф. 109 (3-я Экспедиция, 1877 г.). Д. 262. Ч. 1. Л. 166 об.].

В результате буквально за несколько месяцев преимущественно в Шабельницкой, Рацевской, Адамовской, Боровицкой, Трушевской, Чаплицкой волостях Чигиринского уезда удалось создать подпольную организацию численностью около тысячи человек с целью «возстать против чиновников и дворян» и «в одну назначенную для того ночь перерезать всех начальников, панов, попов и богатых крестьян, а также и жидов», а затем изменить порядок «землевладения путем насильственного захвата не принадлежащих крестьянам земель» и раздела их «поровну между всеми жителями данной местности» [ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 477. Л. 81, 110 об.–111; Материалы, с. 245].



\* \* \*

Провал абсолютного большинства самозванческих интриг XVII–XIX вв., казалось бы, подсказывал очевидный вывод всем желающим вступить на уже проторенный путь: ошибается тот, кто считает крестьян откровенными («наивными») простаками. Отнюдь не к каждому проходимцу с высокими возгласениями они готовы были отнестись с безоглядным доверием, безропотно и до конца пойдя за его соблазнительными призывами и обещаниями. Вербуемых адептов «правого» дела нужно было убедить в легитимности грядущего выступления, причем сделать это в привычной для тех системе ценностных координат, иначе самозванцам грозили немедленное разоблачение и отказ от поддержки со стороны возможных «почитателей» [Усенко, 1995, № 1, с. 53–57; № 2, с. 69–72].

Среди бывших «южных бунтарей» экспертом по крестьянскому вопросу считался Яков Стефанович. Родившийся сравнительно неподалеку, в Конотопском уезде Черниговской губернии в семье сельского священника, он, скорее всего, еще с детства сталкивался с не самым радостным миром народных нужд и чаяний. Вернувшись летом 1875 г. из-за границы под впечатлением публикаций «эмиграционной прессы об аграрных волнениях крестьян в Чигиринском уезде», он какое-то время путешествовал «под видом богомольца из монастыря в монастырь... из ярмарки на ярмарку» (Чигирин, Смела, Медведовка, Жаботин и др.), где «разузнавал о причинах и ходе крестьянского движения, собирал легенды о некоторых коноводах его, взгляды крестьян на отношение к их делу властей, их желания, стремления и пр.» [ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 473. Л. 117 об.; Д. 475. Л. 442].

К этому моменту ни для кого из заинтересованных лиц уже не было секретом, что в чигиринской местности в течение нескольких последних лет активно циркулируют слухи «о существовании какого-то царского указа о всеобщем переделе земель, скрытого будто бы чиновниками и духовенством» [ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 477. Л. 110].

Свою лепту в разжигание крестьянских страстей внес и Стефанович. Из показаний атамана «Тайной дружины» Ефима Олейника известно, что какой-то господин, «назвавший себя комиссаром общества Дмитро Ивановым Найда, еще зимою 1875 г. скитался на побережьях р. Днепра и распространял слухи о том, что дело крестьян о переделе земли еще не погребло, что о нем уже два раза докладывали государю императору и что скоро они получат полное удовлетворение» [ГАРФ. Ф. 109 (3-я Экспедиция. 1877 г.). Д. 262. Ч. 1. Л. 32].

При господстве обычной устной культуры в повседневной жизни провинциальной сельской глубинки для социальных низов оптимистические слухи были фактически тождественны действительности, им невозможно было не верить. Так, крестьянин с. Топиловка Шипотенко-младший по прозвищу Сыч призывал земляков обсудить вопрос «о душевом наделе земли по 12 десятин на человека» на том основании, что «последовавшая будто бы уже 3 года назад о том бу-

мага от государя императора и его комиссара утаивается волостными правлениями и церковнослужителями» [Там же. Л. 131–131 об.].

По материалам чигиринского дела можно составить развернутый список аналогичных примеров и рассуждений. Уверенность в знании крестьянской психологии побуждала Стефановича, Дейча и Бохановского попытаться сполна разыграть эту «kozyрную карту». Первый ход напрашивался сам собой и состоял в материализации виртуального указа, в результате чего на свет появился целый пакет подложных царских бумаг – «Высочайшая тайная грамота», «Устав крестьянского общества “Тайная дружина”» и приложенный к последнему «Обряд святой присяги». И теперь вождельные документы, подтверждавшие обоснованность прежних слухов об их существовании, были предъявлены чигиринцам, далеко не все в них понявшим, но особенно внимательно изучавшим их внешний вид.

Сначала долгожданные «милостивые» манифесты смогли увидеть крестьяне с. Шабельники, находившиеся в Киеве под административным надзором за участие в предыдущих аграрных беспорядках, – Фокий Кравченко, Антон Комаренко, Григорий Миркотан, Степан Миркотан, Кирилл Прудкий, Кузьма Прудкий, Григорий Тененик, Лазарь Тененик и Сергей Тоценко. Некоторые из них стали активными участниками «Чигиринского заговора». При этом нельзя согласиться с ошибочным мнением автора недавней публикации, будто при чтении «царской» грамоты чигиринцы «были обескуражены всем поворотом дела» и «не могли поверить, что царь так бессилен» [Пелевин, с. 141].

С давних пор мысль о том, что «надежда-государь» может оказать «в плену» у бояр/дворян-«изменников» и не иметь решающего влияния на ход событий, входила органичной частью в структуру социально-утопических легенд о возвращающихся царях/царевичах-избавителях (см. об этом: [Чистов, с. 49–275]). Видимо, схожие идейные тенденции характеризовали социально-психологические процессы на Чигиринщине в течение 1870-х гг. Такое предположение подкрепляется, в частности, материалами предшествовавших волнений в тех же местностях. Это означает, что при знакомстве с «Тайной грамотой» и «уставом» общества известие о бессилии царя, окруженного со всех сторон врагами вместе с «недостойным наследником нашим», могло лишь послужить импульсом к крестьянской мобилизации, но никак не обескуражить слушателей. Намного больше их интересовали визуально наблюдаемые знаки того, что «царские» бумаги не являются подложными. Не случайно Лазарь Тененик с удовлетворением заметил, что «Тайная грамота» «была написана на листе бумаги шириною в 1 приблизительно аршин и длиною в  $\frac{3}{4}$  аршина, кругом были полосы желтого цвета, а сверху над ним две печати желтого цвета, из коих одна, по объяснению Найды, государева, а другая печать комиссарова». Его односельчанин Антон Комаренко дополнил, что и сам текст на листе был написан «золотыми буквами» [ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 476. Л. 581, 588 об.].

Похожие наблюдения делали и другие «дружинники» по мере того, как «царские» грамоты распространялись в их кругу. Например, упоминавшийся Иван Сыч «показывал и читал [крестьянам] какую-то бумагу с вызолоченными словами и такую же печатью». А шабельницкий отставной унтер Ефим Олейник в разное время вспоминал о бумаге «в роде кардона с золотыми ободками, короною и именно печатью Императорского Величества», по ее краям «была расположена золотая полоска, и близ текста сбоку была золотая печать со словами “Александр II”» [ГАРФ. Ф. 109 (3-я Экспедиция. 1877 г.). Д. 262. Ч. 1. Л. 131 об.; Ф. 112. Оп. 1. Д. 476. Л. 574].

Едва ли можно считать простым совпадением, что крестьяне, не сговариваясь, акцентировали именно цветовые параметры «царских» документов. Известно, что золотой цвет неоднократно связывался с понятием царской милости и в период предшествовавших крестьянских выступлений в разных регионах страны. Точно так же, например, в 1771 г. от правительственного эmissара Ржевского во время поездки по Олонецкому краю в «некоторых селениях» приписные крестьяне буквально «требовали “настоящего” царского указа, чтобы он был написан “в трех строчках золотыми словами с золотой кистью”» [Балагуров, с. 64]. Дело в том, что понятие «золотой» в традиционной культуре соотносилось «с представлениями о “верхнем” мире, сфере Божественного, с высшими ценностями». Поэтому в народной мифологии этим признаком наделялось «все чудесное, сверхценное», имеющее «непосредственное отношение к Богу, Богородице, ангелам и святым» и характеризующее «принадлежащие им предметы», в данном случае – «царскую» грамоту [Славянские древности, с. 352–355]. В силу сакральной насыщенности золотого цвета документ с какими-то иными внешними атрибутами едва ли мог вызвать доверие у чигиринских крестьян. Не случайно они иногда «отказывались присягать по копии», требуя принести и прочесть им «настоящая бумаги» [ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 477. Л. 73 об., 91 об.].

Впрочем, для отдельных участников происходящего действия, возможно, по причине повышенной суггестивности психики, уже первичных признаков «истинности» «комиссаров» было достаточно. Крестьянин д. Погорельцы Степан Шутенко признавался, что он слышал, как читался «устав общества “Тайная дружина”» и «какая-то грамота», но «что читалось, не припомню». Зато ярким пятном запечатлелась захватившая дух картина, что на документах «была печать, на которой были изображены пика и топор», после чего «мы подумали, что от Бога и царя отказываться нельзя, что бумага эта прислана от царя». Бывший фельдфебель Иван Писковой из с. Мордва, увидев, что «устав печатный, и на нем изображено имя государя... не мог заподозрить обмана или подлога и поверил». И шабельницкий крестьянин Яков Романенко похожим образом объяснил, что, вступая в «тайное сообщество», «дурного он в этом не подозревал, так как в присяге часто упоминалось имя Государя» [ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 476. Л. 261 об., 262 об.; Д. 477. Л. 75–75 об.].

Такая доверчивость эмоционально коррелирует с благоговейным трепетом легко возбудимого экзальтированного религиозного сознания, внезапно соприкоснувшегося с сакральным блеском. Не было ничего необычного в том, что верующего человека «всякое явление чуда в мир естества потрясает и ужасает», это «страх ничтожного перед безмерно великим, могущественным и благим, но лишенный всякой боязни за себя» [Берман, с. 166].

Однако демонстрацией и чтением «царских» документов полностью развеять сомнения не удалось, в том числе даже среди активистов «Тайной дружины». Позднее в коллективном прощении на высочайшее имя они вспоминали, как приехали к ним «двое господ, назвавшихся императорскими комиссарами». Но несмотря на то, что те «предъявили нам воззвание твое, августейший монарх, за подписью и печатью», мы «не могли им сразу довериться». Об этом же еще прежде говорили Лазарь Тененик и многие другие: «Мы сначала не доверяли Найде, но он все уверял нас, что это дело хорошее и что бояться нам нечего» [Крестьянское движение, с. 150; ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 476. Л. 581].

Надо полагать, несмотря на все усилия Стефановича с товарищами, в их словах и делах все равно ощущалась какая-то неестественная фальшь, и это бессознательно тревожило крестьян, пусть даже не всегда проявляясь в вербальных формах. Так, в один из моментов Ефим Олейник «заподозрил их в том, не обманывают ли они нас, и высказал было свое намерение их связать и предъявить в полицию, но Кузьма Прудкой возразил мне и сказал, что за подобный поступок я подлежу по уставу к смертной казни». А топиловский крестьянин Андрон Хрокало «неоднократно хотел донести о преступлении, но его стращали тем, что комиссар ему снимет голову» [ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 476. Л. 576–576 об.; Д. 477, Л. 81 об.].

Чтобы понять, что не устраивало крестьян или казалось им подозрительным в действиях объявившихся «царских комиссаров», необходимо рассмотреть критерии идентичности, заложенные в культурной традиции и потому удовлетворявшие общественным ожиданиям.

\* \* \*

В традиционной картине мира большое значение придавалось телесному коду, поэтому серьезным аргументом в пользу самозванцев могли бы стать их импозантная внешность и роскошные одежды, отвечавшие заявленному высокому статусу. Какой эта внешность могла представляться чигиринцам, узнаём, например, из рассказа жителей с. Мордвы: «из Киева до Черкасс, а отсюда до Мордвы ехал какой-то чиновник, который потом вместе с Омельченком и солдатом Пискавым отправились в Россошинцы к Никите Охрименко, здесь чиновник, сбросив шинель, надел фирменный сюртук с разными орденами» [Материалы, с. 238]<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Крестьянина Охрименко звали не Никитой, а Николаем.

В реальной же действительности выглядели незнакомые господа куда менее презентабельно. Собравшиеся в с. Россошинцы крестьяне «увидели двух человек, одетых в свиты; один из них был чернявой, с бородкою и с усами, средняго роста, а другой был повыше ростом, тоже чернявый, с бороною и усами; у первого волосы на бороде были немного рыжеватя, а у второго черные». Другому участнику сходки также запомнилось, что двое «молодых людей» были одеты «в крестьянское платье», а сам домохозяин рассказывал, как позволил остановиться у себя «пришедшим двум неизвестным, одетым в мещанское платье». Жительница с. Шабельники Елена Прудкая добавила, «что один из тех неизвестных был средних лет, смуглый, с черными волосами и с очень большими глазами, а другой, напротив того, казался очень молодым» [ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 476. Л. 262–262 об.; Д. 477, Л. 74 об., 86 об., 89]. Несмотря на несущественную разницу вынесенных впечатлений, казалось противоестественным, что «государевы комиссары», вместо того чтобы отличаться блеском мундиров и регалий, солидным благородством черт и изяществом осанки, своим видом разочаровывали и совершенно не убеждали тех, кто потенциально мог бы им поверить.

Еще меньше могли поразить крестьянское воображение имена «царевых посланников». Дмитро Найда, Семен, Борис, а иногда даже Даниил и Демьян – это было совсем нето, что ожидали услышать мечтавшие о царской воле простолюдины. В традиции монархического самозванчества запечатлелись совсем иные фигуранты – «генерал Румянцев», «генерал Пушкин», «граф Чернышев», «граф Воронцов», «граф Орлов», «граф Панин», «князь Голицын», «граф Миних» и т. п. Именно такие «знатные персоны» постоянно находились в ближнем окружении наиболее успешных российских самозванцев [Сивков, с. 101, 118]. В упоминавшейся истории «фуриера Ресцова» также фигурировал высокопоставленный вельможа – оренбургский губернатор генерал Волков, якобы посетивший Троицкую крепость «для разведывания о народных обидах в ночные времена» [Побережников, 1986, с. 183]. Да и в ходе крестьянских волнений в самом Чигиринском уезде в 1875 г. некие глашатаи «важного дела» Николай Голиков и Григорий Артеменко, наведавшись в местный женский монастырь, эпатажили настоятельницу сообщением, что к ней «едет обер-прокурор Святейшаго Синода граф Толстой, который и просит игуменью дать ему квартиру» [Чигиринское дело, № 97].

Во всех подобных случаях «имя оказывается как бы функцией от места», так как «в сфере собственных имен происходит то отождествление слова и денотата, которое столь характерно для мифологических представлений» [Успенский, с. 151]. «Это отождествление названия и называемого, в свою очередь, определяет представление о неконвенциональном характере собственных имен, об их онтологической сущности» [Там же, с. 437]. Поскольку в традиционной

культуре «основная функция имени... номинативная, и подавляющее большинство имен номинирует конкретные предметы и явления (или классы таковых), поэтому на этапе возникновения для них характерна апелляция к конкретно-чувственному представлению (т. е. образу)» [Рут, с. 15].

И здесь изобилие примеров служит наглядной иллюстрацией непоправимых ошибок Стефановича с товарищами, видимо, не знавших о подобных «мелочах» или полагавших, что они не имеют принципиального значения для «наивных» в своей простоте крестьян, и потому не принявших их в расчет при подготовке чигиринской авантюры.

Однако упомянутые промахи, вызванные поверхностным знакомством с народной психологией, носили отнюдь не единичный характер. Кроме того, крестьянский покой сильно смущал конспиративный характер организации и деятельности «Тайной дружины». Жители чигиринских селений с удивлением узнавали «о необходимости хранить настоящее дело в тайне, так как тот лишится жизни, кто откроет узнанное» [ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 477. Л. 81 об.].

Познакомившись с текстом «устава», крестьянин д. Мудровка Иван Притула «пришел к тому заключению, что имевшаяся у них царская бумага недействительна, ибо разве царь не нашел бы в себе силы и стал бы потаенно действовать». Житель с. Тарасовка Иван Онищенко также усомнился, что «настоящее дело» хорошее, «и что если такова действительно воля Государя императора, то она была бы объявлена через начальство, а не хранилась бы в тайне». Да и для отставного унтер-офицера Ипатия Проценко из с. Адамовка было «ясно, что настоящее сообщество вполне преступно, хотя донести о таковом он не решался», «так как и без того солдатам трудно жить в среде крестьян». Некоторые же крестьяне с. Боровица, «в том числе Иван Токовой», решительно «отказались от присяги, уверяя, что бумаги подложны». Недоверие в разное время высказывали также Захар Конограй, Василий Кононенко, Андрей Приходько и другие потенциальные «дружинники». А мудровские крестьяне Иван Буренко, Нестор Бершодский и Петр Душейко, «признавая недобрым затеянное ими дело», с общего согласия вообще «сожгли списки и “скорописную присягу”» [Там же. Л. 73 об.–74, 80 об., 81 об., 88 об.].

Культурной нормой массовых выступлений «от имени царя» была их театрализованная зрелищность, визуально манифестирующая «святую правду» народного протеста. Вполне, например, вписывались в устоявшийся стандарт откровенные разговоры о существовании «милостивого» царского указа, которые на протяжении нескольких годов велись чигиринскими крестьянами не только тет-а-тет, но и прилюдно во время всеобщих мирских сходов. Поэтому в разгар волнений большинство «заговорщиков», вовсе не считая свои поступки нарушающими волю монарха, продолжали вполне легально жить у себя дома, а по наступлению сезона сельскохозяйственных работ, как обычно, отправились в соседние губернии на временные

заработки. И только отдельные видные деятели «чигиринского подполья» пытались скрываться от полицейского преследования и даже оказывали сопротивление при аресте.

Все они не могли не беспокоиться из-за того, что при образовании «Тайной дружины», пускай и за подписью Александра II, ее «устав» под угрозой сурового наказания ослушников всерьез требовал совершенно иного: «Сии общества должны держать себя в самой строгой тайне» [ГАРФ. Ф. 109 (3-я Экспедиция. 1877 г.). Д. 262. Ч. 1. Л. 38].

Явный разрыв с традицией колебал неустойчивую психику некоторых несостоявшихся бунтовщиков и провоцировал у них нервный стресс. Так, крестьянин с. Шабельники Александр Леухин поначалу не возражал против вступления в «дружину», поскольку «дело начиналось с того, чтобы почитать Бога и повиноваться царю». Но вскоре от тяжких внутренних переживаний он «заболел какою-то странною невыразимою душевною болезнью», так что «не может спать, метается в разные стороны, трясется всем телом, находит на него какой-то страх, боязнь и тоска». Престарелый селянин в ожидании «всякий час смерти» даже «приготовил себе восковые свечи» и пошел на исповедь. Не менее «сильный страх» «напал по этому поводу» на уже упомянутого крестьянина Притулу, который также оказался не в состоянии «ни есть, ни пить», а «всеми силами стал домогаться уничтожения бумаги, на которой был записан» [Матеріали, с. 231, 232, 233; ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 477. Л. 81 об.].

Снять накал ментального антагонизма между членами «своего» локального сообщества и априорно подозрительными чужаками могли только какие-то свехубедительные и свехъестественные аргументы. В систему таких неопровержимых доказательств идеально вписывался обряд «святой присяги» как нерушимая клятва, насыщенная религиозно значимыми коннотациями и смыслами.

В формальном отношении «устав» «Тайной дружины» действительно придавал присяге большое значение и предписывал ее строгий порядок:

...перед иконой Спасителя, и св. крестом, и св. Евангелием, перед двумя воткнутыми накрест пиками или ножами зажигается восковая свеча, приводимый к святой присяге становится на колени, поднимая второй и третий персты правой руки вверх, а левую полагая на грудь, и повторяет слова святой присяги, читаемая старостою или грамотным свидетелем.

Решающее воздействие на сознание присягавшего и всех присутствовавших должны были оказывать заключительные строки текста:

Ежели нарушу сию мою клятву, то призываю гнев Господа Бога и всех святых Его на меня и на все потомство мое, и да поразят меня всякия беды и несчастья, и да не пощадит меня рука брата дружинника.

После этого в подтверждение данного слова «присягнувший целует икону, крест и Евангелие» [ГАРФ. Ф. 109 (3-я Экспедиция. 1877 г.). Д. 262, Ч. 1. Л. 41–41 об.]. В этой процедуре, помимо прочего, актуализировался социально заостренный принцип круговой поруки как один из самых древних культурных архетипов, ибо «каждый из вступающих в общество принимался в число его членов не иначе как за поручительством двух дружинников, которые, в случае измены нового члена обязаны были убить его» [Там же. Л. 1 об.].

На эмоционально возбудимую психику селян старая ритуальная формула «один за всех, и все за одного» обычно действовала безотказно, о чем, в частности, свидетельствует «то обстоятельство, что среди крестьян не нашлось предателей». Например, Иван Сыч «при дознании ни в чем не повинился, говоря только, что он грешный человек, и что если ему суждено принять мучение, то он готов перенести его, а других лиц в это дело мешать не желает» [Литвак, 1991, с. 209; ГАРФ. Ф. 109 (3-я Экспедиция. 1877 г.). Д. 262. Ч. 1. Л. 142].

Насколько принципиальной для коллективистского сознания была принадлежность к числу «своих» (борцов за социальную правду), свидетельствует целая россыпь ярких примеров. Так, о беспрекословной силе мирского приговора в сознании крестьян говорит выбор жителя с. Мордва Феодосия Чепурного, который «поступил в “тайное общество” дружинников... чтобы подать прошение государю императору о наделе крестьян землею, хотя сам лично имел 15 десятин, он и не желал иного передела» [ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 477. Л. 85].

Чтобы заручиться народным доверием, самим самозванцам не оставалось ничего иного, как подчиниться настойчивым требованиям и пройти через ритуал символической идентификации. Впоследствии многие крестьяне, подобно Антону Комаренко, рассказывали о неизгладимых впечатлениях, произведенных на них этим сакральным актом: «Мы предложили сначала самому Найде принять присягу, и он это исполнил. Мы увидели, что Найда православный и присягает на хорошее дело – присягнули также». Причем Стефановичу в разное время и в кругу менявшихся персоналий пришлось повторять эту клятву как минимум трижды, «после чего, – признавались чигиринцы в обращении к монарху, – не имея больше сомнения и будучи глубоко убеждены, что действуем по твоему высочайшему повелению, начали действовать неустанно» [Там же. Д. 476. Л. 588; Крестьянское движение, с. 150].

И все же в этом вопросе «комиссарам» вновь не удалось последовательно и до конца выдержать смысловую линию написанного ими поведенческого сценария. Некоторых крестьян, например, насторожили кощунственные нарушения, казалось бы, вечного и нерушимого ритуала. Житель с. Мордва Иов Узловатый пояснял, что «ему казалось страшным присягать не в церкви, а тайно». Да и другие, возражая Стефановичу, сомневались: «как нам принимать присягу, когда священника нет». И хотя «Найда сказал, что зачем нам священник,



что лишь бы была икона и Евангелие, то присягу можно принять», едва ли такие аргументы могли полностью успокоить смятенные крестьянские души, знавшие о крамольности любого отступления от установленного свыше порядка [ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 476. Л. 587–587 об.; Д. 477. Л. 89 об.]. Однако, несмотря на сомнения, в массе своей они поверили вестникам «царской» воли, потому что хотели верить, и более верных доказательств, нежели клятва, для них не существовало. Не удивительно, что «крестьяне были вне себя от ярости, когда перед ними раскрылась мистификация “царского комиссара”, особенно они были возмущены священной клятвой, которую он заставил их принести, и ложной присягой, которую он сам принес» [Тун, с. 122]. Будучи убежденными православными монархистами, простые сельские жители юго-западной окраины страны не могли допустить и мысли, что лица, выдававшие себя за представителей венценосной особы, принимая присягу, вовсе не заботились о спасении своих «нетленных» душ, а потому были способны иначе относиться к священному таинству и с его помощью стремиться к ложной идентификации в угоду сиюминутным политическим соображениям.

\* \* \*

При ярко выраженных религиозно-монархических основаниях крестьянской психологии финал чигиринской эпопеи оказался единственно закономерным. Стефановича, Дейча и Бохановского постигла горькая участь многих их незадачливых соратников по самозванческому «ремеслу» – разоблачение, отказ от поддержки и полный провал так лихо начинавшейся затеи. Как неоднократно случалось и ранее, бывшие «дружинники», узнав о святотатственном подлоге, не захотели множить свои грехи перед Господом и государем, а потому «массами стали являться с повинной, принося полное раскаяние в своих заблуждениях, вызванных, по их объяснениям, обманом, заставлявшим их верить, что, вступая в сообщество, они исполняют свой верноподданныческий долг». В контексте крестьянского мировидения иного не могло и быть. И только как очередная констатация культурной пропасти между «верхами» и «низами» рефреном сквозь десятилетия звучит искреннее недоумение чигиринских крестьян: «За что же мы так жестоко наказаны?» [Крестьянское движение, с. 158, 150].

### Список литературы

- Андреев И. Л.* Анатомия самозванства // Наука и жизнь. 1999. № 10. С. 110–117.  
*Андреев И. Л.* Самозванство и самозванцы на Руси // Знание – сила. 1995. № 8. С. 46–56.  
*Балагуров Я. А.* Кижское восстание 1769–1771. Петрозаводск : Карельск. книж. изд-во, 1969. 100 с.  
*Берман Б. И.* Читатель жития // Художественный язык Средневековья. М. : Наука, 1982. С. 159–183.  
*Бескова И. А.* Проблема соотношения ментальности и культуры // Когнитивная эволюция и творчество. М. : Ин-т философии РАН, 1995. С. 123–163.

- ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 473. Д. 475; Д. 476; Д. 477.  
 ГАРФ. Ф. 109 (3-я Экспедиция. 1877 г.). Д. 262. Ч. 1.  
 Документы по Чигиринскому делу // Былое. 1906. № 12. С. 257–261.  
 Зайончковский П. А. Отмена крепостного права в России. М. : Просвещение, 1968. 368 с.  
 Игнатович И. И. Бездна // Великая реформа. М. : Изд. тов-ва И. Д. Сытина, 1911. Т. 5. С. 211–219.  
 Крестьянское движение в России в 1870–1880 гг. : сб. док-тов / ред. П. А. Зайончковский. М. : Наука, 1968. 612 с.  
 Крестьянство и классовая борьба в феодальной России / [отв. ред. Н. Е. Носов]. Л. : Наука, Ленингр. отд., 1967. 456 с.  
 Литвак Б. Г. Крестьянское движение в России 1775–1904 гг. История и методика изучения источников. М. : Наука, 1989. 256 с.  
 Литвак Б. Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива. М. : Политиздат, 1991. 302 с.  
 Матеріали до історії селянських революційних рухів на Чигиринщині (1875–1879 рр.). Харків : Видання Центр. архів. управління УСРР, 1934. 440 с.  
 Мицик Ю. А. Чигирин – гетьманська столиця. Киев : Вид. дім «Киево-Могилянська академія», 2007. 392 с.  
 Новицкий В. Д. Из воспоминаний жандарма. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1991. 254 с.  
 Памятники новой русской истории : в 3 т. СПб. : Тип. Майкова, 1873. Т. 3. 439 с.  
 Пелевин Ю. А. Южные бунтари и «Чигиринский заговор» // Российская история. 2014. № 1. С. 130–150.  
 Побережников И. В. «Добрые цари» на Урале // Родина. 1995а. № 2. С. 73–74.  
 Побережников И. В. Зауральский самозванец // Вопр. истории. 1986. № 11. С. 182–185.  
 Побережников И. В. Слухи в социальной истории: типология и функции (по материалам восточных регионов России XVIII–XIX вв.). Екатеринбург : Банк культурной информации, 1995б. 58 с.  
 Пойда Д. П. Крестьянское движение на Правобережной Украине в пореформенный период (1866–1900 гг.). Днепропетровск : Днепропетровск. обл. изд-во, 1960. 488 с.  
 РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 405.  
 Рут М. Э. Имя и образ: динамический аспект // Имя: внутренняя структура, семантическая аура, контекст : тез. междунар. науч. конф. М. : ИслРАН, 2001. Ч. 1. С. 15–19.  
 Сивков К. В. Самозванчество в России в последней трети XVIII в. // Ист. зап. 1950. Т. 31. С. 88–135.  
 Славянские древности : этнолингвистич. словарь : в 5 т. / ред. Н. И. Толстой. М. : Междунар. отношения, 1995. Т. 2. 689 с.  
 Степняк С. Подпольная Россия. СПб. : Типолит. А. Э. Винеке, 1906. 240 с.  
 Тун А. История революционного движения в России. Пг. : Тип. П. Сойкина, 1917. 293 с.  
 Усенко О. Г. Новые данные о монархическом самозванчестве в России второй половины XVIII века // Мининские чтения : материалы науч. конф. Нижний Новгород : Изд-во Нижегород. ун-та, 2005. С. 74–97.  
 Усенко О. Г. Самозванчество на Руси: норма или патология? // Родина. 1995. № 1. С. 53–57; № 2. С. 69–72.  
 Успенский Б. А. Избранные труды : в 2 т. М. : Языки рус. культуры, 1996. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры. 608 с.  
 Чигиринское дело : (По официальным источникам) // Киевлянин. 1877. № 97 (от 16 августа).  
 Чистов К. В. Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд). СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. 539 с.  
 Юдин П. Л. К истории Пугачевщины // Рус. архив. 1896. Кн. 2. № 6. С. 5–46; 161–184.

## References

- Andreev, I. L. (1999). *Anatomiya samozvanstva* [The Anatomy of Imposture]. In *Nauka i zhizn'*, 10, pp. 110–117.  
 Andreev, I. L. (1995). *Samozvanstvo i samozvancih na Rusi* [Impostors and Imposture in Russia]. In *Znanie – sila*, 8, pp. 46–56.

Balagurov, Ya. A. (1969). *Kizhskoe vosstanie 1769–1771* [Kizhi Uprising of 1769–1771]. 100 p. Petrozavodsk, Karelskoe knizhnoe izdatel'stvo.

Berman, B. I. (1982). Chitateľ zhitiya [Readers of Hagiography]. In *Khudozhestvenniy yazikh Srednevekov'ya*. Moscow, Nauka, pp. 159–183.

Beskova, I. A. (1995). Problema sootnosheniya mentalnosti i kul'turikh [The Issue of the Correlation of Mentality and Culture]. In *Kognitivnaya ehvolyuciya i tvorchestvo*. Moscow, Institut filosofii RAN, pp. 123–163.

GARF [State Archive of the Russian Federation]. Stock 112. List 1. Dopp. 473; 475; 476; 477.

GARF [State Archive of the Russian Federation]. Stock 109, (3-ya Ehkspediciya. 1877 g.). Dopp. 262. Ch. 1.

Grebenkin, K. (Ed.). (1934). *Materiali do istorii selyans'kikh revolyuciy'nykh rukhiv na Chigirinshini (1875–1879 pp.)* [Materials for the History of the Peasant Revolutionary Movement in the Chigirinschina (from 1875 to 1879)]. 440 p. Kharkiv : Vidannya Central'nogo arkhivnogo upravlinnya Ukrains'koi Socialistichnoi Radyans'koi Respubliki.

Dokumentih po Chigirinskomu delu (1906) [Documents on the Chigirin Conspiracy]. In *Bihloe*, 12. pp. 257–261.

Zayjonchkovsky, P. A. (1968). *Otmena krepostnogo prava v Rossii* [The Abolition of Serfdom in Russia]. 368 p. Moscow, Prosvethenie.

Zayjonchkovsky, P.A. (Ed.). (1968). *Krest'janskoe dvizhenie v Rossii v 1870–1880 gg.* [The Peasant Movement in Russia between 1870 and 1880]. 612 p. Moscow : Nauka.

Ignatovich, I. I. (1911). Bezdna [The Abyss]. In *Velikaya reforma*. T. 5. Moscow, Izdanie Tovaristhestva I. D. Sihtina, pp. 211–219.

Litvak, B. G. (1989). *Krest'janskoe dvizhenie v Rossii 1775–1904 gg. Istoriya i metodika izucheniya istochnikov* [The Peasant Movement in Russia between 1775 and 1904. The History and Methodology of Source Study]. 256 p. Moscow, Nauka.

Litvak, B. G. (1991). *Perevorot 1861 goda v Rossii: pochemu ne realizovalas' reformatorskaya al'ternativa* [The 1861 Revolution in Russia: Why the Reform Alternative Was Not Realised]. 302 p. Moscow, Politizdat.

Micik, Yu. A. (2007). *Chigirin – get'mans'jka stolicya* [Chigirin – the Hetman Capital]. 392 p. Kiev, Kievo-Mogilyans'jka akademiya.

Nosov, N. E. (Ed.). (1967). *Krest'jyanstvo i klassovaya bor'ba v feodalnoy Rossii* [The Peasantry and Class Struggle in Feudal Russia]. 456 p. Leningrad, Nauka, Leningradskoe otделение.

Novicky, V. D. (1991). *Iz vospominaniy zhandarma* [From the Memoirs of a Gendarme]. 254 p. Moscow : Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta.

*Pamyatniki novoy russkoy istorii* (1873). [The Monuments of New Russian History. 3 Vols.]. Vol. 3. 439 p. St Petersburg, Tipografiya Mayjkova.

Pelevin, Yu. A. (2014). Yuzhnihe buntari i "Chigirinskiy zagovor" [Southern Rebels and the "Chigirin Conspiracy"]. In *Rossiyskaya istoriya*, 1. pp. 130–150.

Poberezhnikov, I. V. (1995a). "Dobrihe cari" na Urale ["Good Tsars" in the Urals]. In *Rodina*, 2. pp. 73–74.

Poberezhnikov, I. V. (1986). Zauralskiy samozvanec [The Trans-Ural Impostor]. In *Voprosih istorii*, 11. pp. 182–185.

Poberezhnikov, I. V. (1995b). *Slukhi v socialnoy istorii: tipologiya i funkcii (po materialam vostochnikh regionov Rossii XVIII–XIX vv.)* [Rumors in Social History: Typology and Functions (Based on Materials from the Eastern Regions of Russia of the 18<sup>th</sup> and 19<sup>th</sup> Centuries)]. 58 p. Yekaterinburg, Bank kul'turnoy informacii.

Poyjda, D. P. (1960). *Krest'janskoe dvizhenie na Pravoberezhnoy Ukraine v poreformennyj period (1866–1900 gg.)* [The Peasant Movement in Right-bank Ukraine in the Post-reform Period (1866–1900)]. 488 p. Dnepropetrovsk, Dnepropetrovskoe oblastnoe izdatel'stvo.

RGADA – Rossijskiy gosudarstvenniy arkhiv drevnikh aktov [Russian State Archive of Ancient Acts]. Stock 6. List 1. Dossier 405.

Rut, M. E. (2001). Imya i obraz: dinamicheskiy aspekt [The Name and the Image: The Dynamic Aspect]. In *Imya: vnutrennyaya struktura, semanticheskaya aura, kontekst* : tezisih mezhdunarodnoy nauchnoy konferencii. Ch. 1. Moscow, Institut slavyanovedeniya RAN, pp. 15–19.

Sivkov, K. V. (1950). Samozvanchestvo v Rossii v posledney treti XVIII v. [Imposture in Russia in the Last Third of the 18<sup>th</sup> Century]. In *Istoricheskie zapiski*, 31. pp. 88–135.

Stepnyak, P. P. (1906). *Podpoljnaya Rossiya* [Underground Russia]. 240 p. St Petersburg, Tipolitografiya A. Eh. Vineke.

Tolstoy, N. I. (Ed.). (1995). *Slavyanskije drevnosti : etnolingvističeskij slovarj : v 5 t. T. 2.* [Slavic Antiquities : Ethnolinguistic Dictionary, 5 Vols.]. Vol. 5. 689 p. Moscow, Mezhdunarodnihe otnosheniya.

Tun, A. (1917). *Istoriya revolyucionnago dvizheniya v Rossii* [The History of the Revolutionary Movement in Russia]. 293 p. Petrograd, Tipografiya P. P. Soyjkina.

Usenko, O. G. (2005). *Novihe dannije o monarkhičeskom samozvančestve v Rossii vtoroj polovinih XVIII veka* [New Information on Royal Imposture in Russia in the Second Half of the 18<sup>th</sup> Century]. In *Mininskie čteniya : materialih nauchnoj konferencii. Nizhnij Novgorod, Izdatelstvo Nizhegorodskogo universiteta*, pp. 74–97.

Usenko, O. G. (1995). *Samozvančestvo na Rusi: norma ili patologiya?* [Imposture in Russia: A Norm or Pathology?]. In *Rodina*, 1. pp. 53–57; 2, pp. 69–72.

Uspensky, B. A. (1996). *Izbrannihe trudih* [Selected Works, 2 Vols.] : Vol. 1. 608 p. Semiotika istorii. Semiotika kuljturih. Moscow, Yazihki ruskoj kuljturih.

*Chigirinskoe delo : (Po officialjnih istočnikam) (1877).* [The Chigirin Case (according to Official Sources)]. In *Kievlyanin*, 97. Aug., 16.

Chistov, K. V. (2003). *Russkaya narodnaya utopiya (genezis i funkcii socialjno-utopičeskikh legend)* [Russian Folk Utopia (Genesis and Functions of Social-utopian Legends)]. 539 p. St Petersburg, Dmitriyj Bulanin.

Yudin, P. L. (1896). *K istorii Pugachevthinih* [The History of the Pugachev Rebellion]. In *Russkij arkhiv*, 6. pp. 5–46; 161–184.

*The article was submitted on 21.09.2016*